(Посвящается Марье Каспаровне Рейхель)

Я родом-то издалёка, свой край чуть помню: увезли меня оттуда по шестому году.

Вот только помню я длинную улицу да темный ряд избушек дымных; в конце улицы на выгоне стояли две березы тонкие — высокие. Да еще помню, у нас под самым окном густые такие конопли росли, а меж коноплями тропиночка чернела, а где-то близко словно ручеек журчал, а вдали на горе лес зеленел. Да еще я помню свою матушку родную. Все она, бывало, в заботе, да все сиживала пригорюнившись… Отца я не зазнала: он помер, мне еще и году не было. Жили мы в своей избушке… После, на чужой стороне, часто мне, бывало, те дни прошлые пригрезятся, что кругом поле без краю, солнце горит и жжет, сверкают серпы, валится рожь колосистая; я сижу под копной, около меня глиняный кувшинчик с водой стоит; подойдет матушка с серпом в руке, загорелая она, изможенная, напьется воды из кувшинчика, на меня глянет и мне усмехнется… А зимою! в печи дрова трещат, в избушке дымно; хлопочет заботная моя матушка, а в окно глянь — снежная пелена белая из глаз уходит; во всех избах сенные двери настежь, и валит из дверей дым серый…

Деревья стоят, инеем опушились; тихо на улице; только задорные воробьи чирикают, скачут… И вдруг я в хоромах богатых очутилась, всюду шелки да бархаты, стены расписные, гвозди золоченые. Стою я середь горницы замираючи, а передо мной сидит на кресле барыня молодая, пригожая, разряженная. Сидела она и, глядючи на меня, усмехалась. Маленькая барышня, румяненькая, кудрявая, вертелась по комнате да, смеючись, все меня беленьким пальчиком затрагивала — вот словно как деревенские ребятишки галчат дразнят… Как схватили меня с улицы и

посередь горницы перед барыней поставили, так и стою я да озираюсь: сердце у меня со страху закатилось... Понемножку я в себя пришла и плакать стала, стала к матушке проситься. Барыня в серебряный колокольчик зазвонила, и человек усатый вбежал: "Отнеси ее домой!" — показывает ему барыня на меня, а барышня как закричит, как затопает ножками!.. Барыня к ней целовать, унимать — барышня еще пуще...

Выскочил из другой горницы барин щеголеватый... "Что? что?" Махнули на усатого человека: "Иди!", а меня не пустили, кусочек мне сахару дали и велели: "Не плачь".

Потом я помню безлюдное да безбрежное поле да по полю дорогу змеей черною да помню свою тоску беспомощную... После уже, как я в лета вошла, то от людей узнала, что и как было.

Увидала меня на улице барышня гуляючи; я барышне приглянулась. "Дай мне эту девочку, подари!" — говорит она барыне.

Барыня ее уговаривать стала: "На что тебе такая замарашка, глупенькая!" Да барышня ничего слушать, знать не хочет: "Дай девочку!" Сама в слезы ударилась.

Вот и приказали меня в хоромы привесть. Привели, да уж и не выпустили. А господа в другую отчину выезжали, и на другой день у них был отъезд положен. "Хочу девочку с собой взять!" — кричит барышня. Попробовали ее уговаривать, только слова даром потратили. Барышня опять расплакалась, опять раскричалась; погладили ее господа по головке и велели меня в дорогу с собой снарядить. Приходила к ним моя матушка с горькими слезами: "Отдайте дочку!" — Я б тебе отдала, да барышня не пускает, очень ей твоя дочка

понравилась, — ответила моей матушке барыня. — Ты не плачь, пожалуйста: она ведь скоро барышне прискучит, детям забава не надолго — тогда сейчас твою дочку мы перешлем к тебе.

Вышла барыня из девичьей и говорит своей ключнице любимой:

— Ах, как жалко мне эту женщину! просто я на нее смотреть не могу. Идите, душечка Арина Ивановна, скажите ей что-нибудь, дайте ей вот денег… ну, отдайте что-нибудь из моих вещей похуже… Только поскорее, чтоб она шла себе, чтоб тут не плакала…

Вышла Арина Ивановна к моей матушке и стала мою матушку из хором гнать. Матушка пошла. На другой день, как мы уж выезжали, приходила она хоть проститься со мной — не допустили.

— Лучше ты не показывайся: раздразнишь девочку, и барышню еще в слезы введешь, и господ, чего доброго, разгневишь — твоей же дочке жутче придется.

Матушка и не стала добиваться. Только как мы из деревни выезжали, она спряталась на выгоне в конопли да издали на меня взглянула, поблагословила меня… А мне-то, глупой девочке, каково приходилось! От страху, от слез задыхалась, а из всех дверей на меня грозятся, сверкает на меня глазами ключница; барыня проплывет через горницу, усмехается, покажется в дверях барин щеголеватый, песенку себе насвистывает; прыгает барышня, веселенькая, — и все на меня глядят, и всех-то я боюсь…

Путь-дорога моя ясно мне помнится. Я ехала в бричке с ключницей, с Ариной Ивановной, следом за господскою каретой. Арина Ивановна была и гневна и придирчива; за мои слезы детские била меня; не позволяла мне из брички выглянуть и все мне спать приказывала. Я, бывало, как встречу ее глаз черный, злобный да голос шипящий послышу — меня уж дрожь пронимает. Тоска безутешная, страх беспрестанный да жаркое лето знойное совсем меня истомили — я захворала. Тогда меня перестали на всяком постое к барышне на забаву таскать — боялись, что болезнью ее заражу, — велели меня в бричке уложить и с барского стола мне подачки присылали… Бывало, едем-едем, и укачает меня, дремота нападет тяжелая да беспокойная, и вдруг что-то зашумит, пахнет в лицо прохладой; открою глаза — а то мы дубовый лесок проезжаем, и веет свежий ветерок, и зеленые листья шелестят полегоньку… Хочу приподняться. "Чего тебе? куда?" — прикрикнет Арина Ивановна… Я опять глаза закрою, и опять едем, едем под солнцем жарким, и какая-то птица звонко, звонко кричит… Иногда, бывало, барышня вырвется из кареты, вскочит в бричку и давай тормошить меня: "Вставай, вставай ты поскорей, мне без тебя скучно!" Случалося, что и сама барыня подойдет: "А что, Арина Ивановна, что Игрушечка?" Меня, видите, Грушей звали. Говорят, как спрашивала барыня у моей матушки: "Как твою дочь зовут?" — "Грушечка!" — ответила ей моя матушка. "Грушечка!"

Грушечка! — подхватила барышня. — Пусть будет она лучше Игрушечка!" Господа посмеялись, им полюбилась кличка такая. С той поры и стала я Игрушечкой…

Приехали мы в отчину, в село Рогожино, и там господа на житье поселились.

Сначала на новом месте все мне смутно представляется. Я лежала долго больна в избе душной, и поили меня какими-то

горькими травами. Много людей в той избе толпилось; они себе и ссорились и мирились, и охали и веселы бывали. Были они все мне чужие. Я только на них смотрю, бывало, а они на меня-то разве мимоходом глянут — тоже им девочка чужая. Да и дела много у всякого. Известно, что дворня всегда в суете да в беготне. Хоть дела-то не велики, да лучше великих уходят.

Изба эта была высокая, просторная — приходят, бывало, туда и самовары чистить и пряжу мотать, и белье стирать. Кто, бывало, в людской не поместится, сюда ночевать идет. Называли вое эту избу избой запасною.

Вот только раз я лежу — приотворилась дверь, и кудрявая голова молодая выглянула.

— Что, все ушли? — проговорил высокий молодец, входючи в избу.

— Все, — ответила я ему.

— А ты что, девочка, лежишь? — ласково да весело так меня спросил.

— Больна, — говорю.

— Ах, бедненькая ты, завезенная крошечка! выздоравливай-ка скорее!

И пошел себе, и веселый его голос смолк… Арина Ивановна ходила ко мне всякий день и обед мне из хором приносила. Придет всегда сердитая, грозная: такой страх, бывало, на меня напустит. Как только стала я поправляться, тотчас меня опять к барышне привели и уж с этого дня безотлучно при ней держали.

Рядом с детской была Арины Ивановны горница, а подле горницы маленький чуланчик темный, узенький, словно ящик, там я спала. Как вспомню, какие там на меня страхи находили! То представится мне, что кто-то к моему уху наклоняется — шепчет, то в потемках мне чьи-то глаза сверкнут, то чудится, что-то щелкает…

Завернусь с головой в старенькое жалованное одеяльце, лежу, чуть дышу… И вспомнится мне вдруг, как меня матушка на руки брала, как меня голубила — больно сердчишко забьется, зальюсь слезами горючими… И долго и горько плачу, пока уж из сил выбьюсь, засну. И приснится мне матушка, я к ней прижимаюсь крепко, я хочу ей все рассказать, да пожаловаться, да приласкаться, а тут меня толкают, будят; сон прогнали, — и уж как я, бывало, эти сны отлетевшие оплакиваю, словно живых людей!

Арина Ивановна с первого взгляда меня невзлюбила, а еще пуще гнала за то, что барышня меня жалела, что, бывало, меня и шагу от себя не отпустит, а на Арину Ивановну: "Идите, идите, Арина Ивановна, мне вас не надобно; я буду с Игрушечкой".

За то Арина Ивановна, где ни попадет, там меня и пристукнет. "Вот, твердит, вот не было печали! Ах, бесенок ты этакой!" Сначала уж очень она обижала меня, так что и барышня жаловалась барыне и барыня сама Арину Ивановну усовещивала.

— Была у Зиночки козочка дикая, — говорила, — был попугай у Зиночки, как вы за ними ухаживали, помните, Арина Ивановна? Что ж вам бедная эта Игрушечка сделала? За что вы ее так гоните?

— Не гоню я ее, сударыня, а только мне вот обидно, что хамку со мной равняют. Я хоть бедная вдова, да я родовая дворянка.

— Ах, милая Арина Ивановна! кто ж вас с нею равняет? Вы понимаете, это Зиночкина забава. Вы для Зиночки это сделайте, не обижайте Игрушечку.

— Да бог с нею! — ответила Арина Ивановна. — Служила я всегда вам, кажется, и верой и правдой, да вот, сударыня, чего дослужилась! Мне заказ девчонку поучить!

Для вас же, сударыня, я ее учила; не угодно вам — как изволите!

Мало мне полегчало после этого разговору. Реже, исподтишка, да больнее стала меня Арина Ивановна донимать. И за все стала ко мне придираться. Пройду ли мимо:

"Иди-ка сюда, любимочка, — кивает на меня гневно, — иди-ка! Ты это на радостях, что у меня голова болит, бурею-то носишься?" Говорю ей: барышня меня послала, за делом иду. "Вот тебе барышня! вот тебе!" Чашка ли, тарелка ли разобьется на другом конце дома — я отвечаю. "Твоих рук, говорит, не минуло!" Хоть перед нею плачь, хоть божись, она не послушает; чаще молчишь, бывало… Да она и сама, верно, знала, что напраслину взводит. Раз она меня пилатила, пилатила, да уж и сама мне говорит: "Ах ты, бессчастная! и на что ты на белый свет народилася?" Одним вечером сидели мы с барышней в детской, играли на ковре, а Арина Ивановна в своей комнате шила, и слышу, входит к ней кто-то; Сашин голос узнаю (девушка была горничная Саша). "Арина Ивановна! говорит. Опять тростинский мужик пришел, просит, чтоб к Игрушечке его допустили".

— Как ты смеешь мне глупые его слова мужицкие переносить? Сказала я уж раз ему, чтоб убирался! Он у меня дождется радости, дождется! — грозит.

— Да уж очень он просит, Арина Ивановна, — говорит Саша: — Игрушечкиной матери обещался, просила-то как она, сказывает, слезами обливалася: "Сам ты посмотри на нее да хоть расскажи мне, какая она стала!" Я сижу, так и обмираю.

— Вот еще выдумки глупые! — ответила Арина Ивановна еще сердитей. — Чего ты-то лезешь? Игрушечка с барышней играет, барышню мне, что ли, для вас раздразнить?

— На часочек, Арина Ивановна: он только отдаст Игрушечке гостинец, что мать прислала, да глянет на нее.

— Что еще за гостинцы там? Принеси-ка сюда, я сама ей отдам.

Горько я тогда зарыдала. Барышня встревожилась, бросилась ко мне — она, играючи, не прислушивалась. "Что, Игрушечка, что такое?" добивается. Арина Ивановна вскочила в детскую.

— Что такое?

— Игрушечка, скажи! — пристает барышня.

— Прислала мне матушка гостинец, — жалуюсь: — не отдают.

— Да что вы ее, глупую, слушаете? — закипела Арина Ивановна: — Вот я ей задам матушкиного гостинца, чтобы

барышню не тревожила! Сейчас у меня перестань, негодница! нишкни! — А сама ко мне…

— Не смейте ее трогать! — крикнула барышня. — Какой гостинец ей прислали? где гостинец? сейчас ей отдайте! сейчас сюда принесите!

А из двери бородатое лицо чье-то выглянуло. Арина Ивановна коршуном кинулась:

— Как смеешь! Куда? — И двери захлопывает.

— Да как же, матушка, — ответил ей кто-то из-за дверей протяжным голосом: — дал слово, держись… пускай сами господа рассудят…

Барышня оттолкнула Арину Ивановну и настежь дверь распахнула. Вижу, стоит мужичок в сером армяке с шапкой в руках; лицо худое такое, борода длинная, смирный да добрый был с виду.

— У тебя гостинец Игрушечкин? — спрашивает барышня. — Иди сюда да отдай ей.

Мужичок барышне низко поклонился вошедши, поглядел на всех и на меня потом показал:

— Видно, Груша? Поди-ка, Груша, сюда, — говорит мне: — поди, я по головке поглажу.

И погладил меня по головке. Арина Ивановна только глядела да думала, что б ей тут сделать, барышни боялась да губы кусала; потом невмочь ей стало — вышла.

— Мать кланяется, — говорит мне мужичок, — помнишь мать-то еще? Ну, не плачь.

И гостинчик мать прислала.

Вынул из-за пазухи мешочек и дал мне, а я тот мешочек крепко ухватила…

— Что ж от тебя матери-то сказать, а? — спрашивает мужичок, а я только плачу.

Арина Ивановна в дверях стала.

— Что ж, — говорит, — скоро? ты приказчику нужен — иди.

— Ну, прощай, Груша! — сказал мужичок. — Не плачь, мать еще гостинчика пришлет.

— Я к ней хочу… к матушке хочу! — рыдаючи я ему вымолвила.

— Ну, хорошо, хорошо, и к ней пустят, только вот не плачь!

— Царица какая проявилась! — загремела Арина Ивановна, — еще поблажку ей давать! Не видать тебе матушки своей, не видать! — вскинулась на меня. — А ты иди-ка, иди! — гонит мужика.

Погладил он еще по головке меня и ушел. Арина Ивановна вслед за ним выбежала, и большой шум поднялся в девичьей: то слышно крик — Арина Ивановна кричит, то протяжно мужичок говорит… Барышня сидит, свою губку прикусивши, и на меня поглядывает, а я свой мешочек развязываю. В том

мешочке были две замашные рубашечки, да глиняная уточка, да пряничек медовый…

— Покажи, покажи, Игрушечка, что тебе мать прислала, — говорит барышня, подсаживаясь ко мне, и так все оглядывает, осматривает…

Вошла Арина Ивановна и насмехаться стала:

— Ну, уж рубашечки! Из паутиночки тканы! да при господах и носить-то нельзя таких: дотронется как барышня, то и ручку себе обдерет. Дайте-ка я их зашвырну куда подальше!

Уж где у меня и сила взялася, где и храбрость! Не даю, борюсь.

— Арина Ивановна; идите прочь! — крикнула барышня, — идите прочь! — И прогнала ее опять из детской, сама опять подле меня села. Долго я над своим гостинцем плакала, а она все на меня поглядывала, призадумавшись. Переждавши, пришла опять Арина Ивановна.

— Что вы, Зинаида Петровна, так заскучали? — спрашивает барышню.

Барышня вздохнула и на меня пальчиком показала:

— Она все плачет по своей маме; она к своей маме хочет!

— Да пусть себе хочет! Чего ж вам-то беспокоиться. Не хотите — не пустим, мой ангел, вы не беспокойтесь!

— А плачет?

— Мало чего нет! да вы ведь ее взяли себе в забаву, вы ее госпожа, мое сокровище, что с ней захотите, то и сделаете: плакать прикажете — плачь! прикажете веселиться — веселись!

— А как она не станет?

— Не станет! Да мы ее так проучим, что она у нас шелковая будет!

— Мне жалко Игрушечку!

— Вот то-то и есть, что вы всё жалеете! И проку из нее не будет… Вы не жалейте!

— Жалко Игрушечку! — твердит барышня. — Жалко Игрушечку!

— Говорю, перестаньте жалеть — перестанет она и плакать, и всю ее блажь как рукой снимет…

Все это говорится, а я слушаю… слушаю, а слез не могу сдержать — льются…

Вот барышня личико насупила, бровки нахмурила, надула губки и подступает ко мне грозно:

— Игрушечка! чего ты скучная? сейчас веселись! Ну, веселись! Я тебе приказываю, я твоя госпожа — веселись!

— Ах, ах, голубчик вы мой! — едва промолвит от смеху Арина Ивановна. А я, глупый ребенок, слезами заливаюсь горькими.

— Веселись, Игрушечка, — приказывает барышня: — веселись и маму свою сейчас забудь. Слышишь, что я тебе приказываю? Ну, забыла свою маму?

— Нет, — говорю, — не забыла!

Арина Ивановна ко мне:

— Да ты смеешь ли так барышне отвечать, а? что? Ах ты, грубиянка! Велят тебе смеяться — сейчас у меня смейся!

Смеюсь я перед ней, слезы свои горючие глотаючи…

— Ну вот, видите, мой ангел, она и смеется, — утешает барышню Арина Ивановна.

А барышня глядит на меня такими-то пытливыми глазенками…

— Игрушечка! — говорит. — Как же ты и плачешь и смеешься, а я вот не стала б.

— И, голубчик, равняетесь с кем! — ей на это Арина Ивановна. — Ей что прикажут, то она и может.

— Вот, Игрушечка, ты какая, — проговорила барышня, — вот какая!..

С той поры часто она, бывало, меня стращает:

— Игрушечка, не скучай! Ты знаешь, я все с тобой могу сделать; я тебя ведь баловать не буду — ну вот велю сейчас волка позвать и прикажу, чтобы тебя волк съел. Волк ам-ам! и съест, а я жалеть о тебе не буду и отнимать у волка не буду.

Шло время да шло; и год прошел. Раз чем свет будит меня Арина Ивановна. Я вскочила.

— Оденься поскорей, в церковь со мною поедешь, — говорит, — да по матери по своей панихиду отслужишь.

А я никак в толк не возьму, голова у меня кругом пошла. Умерла? когда?..

— Чего смотришь? — толкает Арина Ивановна. — Сбирайся, говорят, скорее, пока еще барышня не проснулась.

Вертела она меня, и совала, и теребила, и все над ухом твердила: "Не помянешь покойницы матери, бог от тебя отступится".

Посадила меня с собою в бричку и повезла. Билось, билось мое сердце и замирало, будто я ждала кого-то... да все тихо по полям было, белели они под росою, солнышко еще не всходило, из-за лесу холодноватый ветерок тянул.

Подъехали мы к церкви. Вышли — церковь пуста; один седой пономарь прошел, крестячись да зеваючи. Арина Ивановна прикладываться пошла к образам и мне махнула: "Иди!" И я за нею пошла. Стали сбираться и священник и дьячки. Стали по матушке моей панихиду служить. Я была словно в каком-то тумане. Дым от ладану клубился, в дыму свечи мерцали; два старичка-дьячки пели разбитыми голосами, и тихо их пенье по церкви дребезжало. Арина

Ивановна стояла впереди, все на меня оглядывалась и все мне грозилась; чужие люди в церковь сбиралися на обедню, на меня смотрели, вздыхали и крестились… "Умерла матушка!" думаю, а слез у меня нет…

Отошла и обедня. Народ повалил из церкви и рассыпался по дорожкам да по тропинкам. Сколько голосов шумливо смешалося! Арина Ивановна около церкви прощалась с молодою дьячихой и на меня ей показывала:

— Вот, — говорила, — приказала ей по матери панихиду отслужить. Без меня так бы покойницу мать и не помянула.

А дьячиха мне нараспев:

— Что ж, тебе родной матери-то не жалко, что ли? Ах, грех-то какой!

— А я ей еще и не говорила, долго все думала: вот разголосится; она и слезки не выронила. Силой почти и в церковь-то привезла!

И дьячиха опять нараспев:

— Ах, грех какой! бог вас за это не оставит, Арина Ивановна, вас бог не оставит!

Поехали мы домой… Солнышко уже высоко взошло. Опамятовалась я и тогда-то уж досыта наплакалась. Боже мой! господи! какая тоска мою душу сжала! какая печаль!

А бричечка по дороге турчит, катится. Арина Ивановна меня бранит, да урекает, да грозится. "Отчего в церкви не

плакала, полоумная! Теперь только хватилась! Вот я тебе дам слез!" Барышня увидала меня, сейчас заметила.

— О чем Игрушечка плакала?

— У ней мать умерла, — ответила Арина Ивановна.

— Отчего умерла?

— Оттого, — говорит Арина Ивановна, — что Игрушечка не слушается, что девчонка злая, упорная, так вот бог у нее маму взял.

— А я-то не слушаюсь? — промолвила барышня.

— Да вы барышня, как же вам с нею равняться, мой голубчик!

— Мне бог простит? — спрашивает барышня.

— Помолитесь хорошенько, то и простит, мое сокровище; бог милостивый, бог всех любит.

— А Игрушечку не любит?

— Ну, Игрушечка глупая, упрямая, за то и бог не любит ее, за то и наказывает.

— А добрым все можно? Бог их ни за что не наказывает? Никогда?

— Никогда. Добрый человек хоть и согрешит, то все так себе... а злой человек все по злости делает, вот и нет ему прощения.

— Смотри ж, Игрушечка, — говорит мне барышня, — ничего не делай по злости, будь добрый человек, все тогда тебе можно и все тебе бог простит... ...

Господа наши жили и весело и шумно. Гости почти со двора не съезжали. Дом был высокий, поместительный, веселый на горе стоял. Кругом дома всё сады, цветники, теплицы и широкая лестница каменная под гору, а под горою речка бежала, на речке пристань с флагами для причалу, и плавали лодки под парусами, а на парусах гербы барские вышиты. За рекой, по горе отлогой, чернелись избушки, а на самой вершине реденький березовый лесочек зеленел; а там, куда ни глянь, далеко-далеко чистое поле стелется, ровное... Часто, бывало, господа и наши и чужие глядят на ту гору, на избушки ветхенькие — которая покосилась, другая в землю врастает, — глядят да друг другу говорят: "Вот, говорят, русский настоящий вид! Только у нас такие виды печальные!" Чей-то барин, усатый да плечистый, все, бывало, при этом себя в грудь бил руками: "Родное, родное!" приговариваючи. Очень он яро это приговаривал.

Господа наши были молоды. Нашу барыню все красавицей величали. Такая была высокая да статная, чернобровая, белая, только ленивая. Господи! какая она уж ленивая-то уродилася! И глянет на тебя-то вполглаза. Всей работы у нее было, всего дела, что из горницы в горницу плавает, склонивши головку набок, и длинным своим платьем шелковым шуршит. Оживится немножко она, разве как гости наедут, говорливые, да веселые, да осудливые. Поднимут на зубки и чепчики разные и генеральшу московскую, поахают об городе Париже да побранят свой уезд, — тогда и наша барыня головку поднимет

и заговорит себе громче. Барин поживее ее был, веселые песенки все певал да насвистывал. Говорили, что не башковит он, ну да зато смирен был; с барыней они жили согласно. И она была барыня добрая. Никого они не корили, не казнили, они и сердиться-то редко сердились. Приди кто из людей с какой просьбою к ним — ничего, не выгонят, разве только пускать не велят, коли докучило, или пообещают, да не сделают — забудут. Жили да поживали наши господа довольны да веселы, мирны да спокойны. Вот это сидят, бывало, в гостиной; барин свистит, а барыня глазками по горнице поводит, и вдруг ей в голову пришло: "Мой друг, — говорит барину, — а ведь голубые-то обои были бы лучше в гостиной!" Барин так и вскочит горошком. "Душечка! какая мысль тебе хорошая пришла! Где у меня-то рассудок до сих пор был?" И давай себя по лбу ляскать. "Ну, такого дела откладывать нечего, сегодня же в город пошлем, а к воскресенью чтобы все готово было". — "Да, да! — подхватит барыня, — приедет Анна Петровна и Клавдия Ивановна, — вот удивятся-то, а уж Анна Федоровна так рассердится, что за обедом ничего есть не станет. Непременно к воскресенью, мой дружок!" И примутся хлопотать, примутся суетиться. В страхе эти дни живут: все им чудится, что кареты во двор въезжают. "Ох, кто-то приехал, кажется!" — говорят, а сами в лице меняются. Удивить хотят, видите, и вдруг если б застали, что стены ободраны. А иных тревог, других забот у них, кажись, и не бывало.

Никогда я не видала, чтобы барин наш призадумался, чтобы барыня всплакнула — нешто безденежье или барышня захворает. А безденежье их часто пристукивало.

Любили они оба и жить роскошно и наряжаться богато. Барыня все шелковые розовые платья носила да в тонких кружевах ходила. Барин тоже щеголь великий был: шейный платочек все голубиным крылышком завязывал, да, бывало,

иной раз с утра до самого обеда бьется и не сладит. "Вот день-то несчастный выдался! вздохнет.

Никак не слажу!" И барыня к нему тут на помочь придет, и Арину Ивановну кликнут, да словно к венцу прибирают: все около него в заботе такой, в хлопотах. А уж как вырядится он — таким брындиком выйдет, перед зеркалами останавливается да так приятно на себя поглядывает и рукой все себя по щеке поглаживает… Это еще все бы не разор был, если б только не меняли они всего до ниточки каждый год по скольку раз. Мало ли на один дом шло? И к рождеству и к святой, бывало, весь обновляют. И как уж весело тогда барин хлопочет! Сам картины прибивает… Ведь чудно покажется, как сказать, а скажу правду: до страсти любил он гвоздики вбивать, и случись, что по усердию кто ему этим услужить поспешит, то так огорчится… Потом уж все так и знали, сами не брались никогда, а ему приготовят молоточек. И правду тоже надо сказать, что уж никто так гвоздика не вобьет: так он наловчился, что только глянет, и потрафит куда надо гвоздику. Поедут ли в город господа, чего они не накупят! И самоваров навезут и сушеного горошку, а дома под самоварами в кладовой полки ломятся, и горошку садовники на целый год запасают; понавезут они обои штофные, каких-то рыбок горьких в банках, табакерки с музыкой… Разносчики ли наедут — купцы хитрые, зоркие, — сколько они денег оберут! "Не берите, батюшка, — говорят барину, — это оченно дорогое, вы вот себе подешевле возьмите". Барина словно подожжет: "Подавай мне самое дорогое!" Да и купит такое ж самое втридорога. Еще, бывало, и сдачи не возьмет. И поглядывает на купцов бородатых: вот я вам пустил пыли в глаза! а купцы от радости даже вздыхать почнут… А как именины справляют или рождение? Пойдут тут сборы да приборы такие, сохрани боже! И вина выписывают, и конфеты выписывают, и шаль и чепчик барыне, и шейный платочек и желтые перчатки барину… "Да уж кстати, будут посылать, говорят, то выписать

и то, и вот это б выписать, и пятое, и десятое"... Да так наберется, что на почту телегу надо посылать. Хоть много им утехи на именинах бывало, да много ж и хлопот и тревог не мало: ведь совсем измучатся, пока отбудут, ходючи да думаючи тяжко: что лучше к обеду подать? да как цветы уставить? да чем генеральшу б удивить и покойного ее сна лишить?

Изморятся, бывало, словно на барщине. А никому уж столько дела тогда не бывало, как Арине Ивановне. Еще недели за две ее в город туряют: то одно забыли, то другое вспомнили, а там уж ей дома беда начинается. Только она утром глаза откроет, уж ей поваренок из двери чашку просовывает: "Пожалуйте муки!" Выглядывает птичница; молочница тоненько покашливает, чтобы не очень рассердить...

"Ох, нет на вас пропасти! — кричит Арина Ивановна. — И богу-то помолиться не дадут порядком!" Наскоро перекрестится, накинет платок на плечи, и целый день бегать ей, да хлопотать, да сердиться... Господа тревожились, да и веселились, а Арине Ивановне на званых-то обедах, надо думать, ей не очень весело бывало: сидит она себе в самом конце стола в своем чепчике с желтыми лентами, и никто на нее и не глянет, никто с ней не заговорит, нешто воды налить попросит...

Присмиреет она тогда и словно запечалится, задумается... а гости так и жужжат около нее за столом.

Пиры у господ за пирами, а тут глядь — денег нету. Вот сядут тогда они в гостиной и сидят, приуныли. Один в окошко глядит, другой в другое; "ах-ах-ха-х!" — ахают. А прошла беда, продали или заложили деревеньку, денежки зазвенели опять,

и опять обеды званые, гости нахлынули, пир горой, и весело живется, и хорошо им.

На эти пиры, на угощения много деревень с рук сплыло… И Тростино мое родное.

Кажись, ведь ни роду, ни племени там у меня, да и ни лица-то знакомого, а жалко-жалко было, и слезно я плакала, и живей мне былое время припоминалось…

— Игрушечка, о чем ты плачешь? — спрашивает барышня. — Полно оглядываться, не бойся никого, говори!

А я оглядываюсь, не слушает ли где Арина Ивановна.

— Скажи, о чем плачешь?

— Так, — говорю.

— Игрушечка, милая, скажи мне, какое твое горе? — говорит, а сама мне ручку на плечо положила и в лицо мне заглядывает.

— Ах барышня, барышня! — отвечаю. — И на что вам знать, что мое за горе!

— На то знать, что мне тебя очень жалко, Игрушечка! — говорит.

Я на нее поглядела. Глаза у ней такие тихие, и личико отуманилось.

— Барышня, милочка! продали Тростино!

— Какое Тростино, Игрушечка?

Она и не знает. Вот я ей рассказываю, и жалуюсь, и плачу, а она все мне: "Говори, говори, Игрушечка!" — Да что ж больше говорить? Я все надеялась, все ждала, авось когда поедут господа в Тростино, — хоть гляну да вспомню былое, — а теперь продано, не видать мне его и не слыхать об нем!

— На что продали Тростино, Игрушечка? Ты не знаешь?

— На пиры деньги понадобились, то и продали, — отвечаю. — Так я в девичьей слышала, толковали. Кто-то в нашей избушке жить теперь будет!

Хоть Арина Ивановна дразнит меня, бывало, что избушка наша давным-давно завалилась, я хоть часто плакала от ее слов, а все не верила ей. Мне казалось, что и ветшать-то избушке той не приходится. А барышня слушает мои речи да задумалась, задумалась. Сидела она на ковре, ручкой головку подперла, и в каких-то мыслях тихих и важных.

— О чем, барышня, вы задумалися? — спрашиваю.

— Так, обо всем, Игрушечка.

— Да о чем же обо всем?

— Да так, — отвечает, — как это все на свете делается!

— Да что?

— Игрушечка, — говорит, — ты замечаешь ли, что когда одни плачут, другие смеются; одни говорят одно, а другие

опять совсем другое… Вот ты плачешь, что Тростино продали, а мама и папа всегда в радости, когда деньги получают… а, Игрушечка? — Да вдруг в тревоге такой ко мне:— Да нельзя разве, чтобы все веселы были? Нельзя, Игрушечка?

— Видно, нельзя, — говорю.

— Отчего ж?

— Да не бывает так… вот ведь и мы с вами, все мы вместе, а мысли у нас разные приходят…

— Да отчего ж так? отчего?

Я что сказать ей не знаю…

Тут Арина Ивановна шасть в детскую, мы смолкли.

— О чем щебетать изволили, сокровище мое? — спрашивает у барышни. — Уж не сердитесь ли, мой голубчик? щечки-то у вас горят.

Барышня ей ни слова в ответ и отошла от нее.

— Да что ж это вы от меня таитесь, голубчик мой, от своей Арины Ивановны-то?

Скажите, скажите!

— Арина Ивановна! я вам не хочу ничего говорить, — ответила ей барышня и строго так-то на нее глядит и прямо, что смешалась Арина Ивановна. Не прибрала, что сказать, что сделать, да на меня напустилася:

— Погоди, погоди ты, змейка! — грозится. — Я вот барыне все скажу; я тебя на свежую воду выведу, погоди!

И побежала к барыне.

— Барышня, — говорю: — что мне делать? Нажалуется на меня Арина Ивановна.

— Не бойся, Игрушечка, я за тебя заступлюсь.

Двери отворяются, барышня еще мне кивнула — не бойся. Вошла барыня, за нею барин, и сели по креслам и слотрят на барышню и на меня, а Арина Ивановна из-за дверей головку выставляет, точно змея жальце свое. Господа поглядели, поглядели и спрашивают у барышни:

— Зиночка! что такое было? О чем ты с Игрушечкой говорила? Поди ближе и скажи маме.

— Говорили, что одни люди плачут, а другие люди веселы.

— Что, дружочек?

Удивилась очень барыня, и барин во все глаза глядит, а барышня опять:

— Что одни люди смеются, а другие в слезах.

Барыня с барином переглянулись, и оба на барышню посмотрели.

— Ну, скажи, мама, — заговорила барышня, — скажи мне, отчего это так на свете?

Вскочила она к барыне на колени, обнимает, и прижимается к ней, и в глаза ей глядит — ждет слова, от нее заветного, а барыня ей в ответ:

— Умные дети, мой дружочек, никогда не плачут.

— А бывает же скучно, мама, и умным, бывает чего-то больно, будто и скучно…

А барыня:

— Умные дети, дружочек мой, всегда веселы.

— Ах, боже мой, какая ты, мама! Ну, глупые скучают, плачут — разве уж тебе их совсем и не жалко?

— Глупых детей наказывают, Зиночка, — отозвался барин, взявши себя за подбородок, — и они сейчас умнеют…

— Да Зиночка у нас умница, — говорит барыня, — она никогда у нас не скучает, никогда не плачет. Это какой-то мужичок иногда приходит, под окном у нее плачет, а Зиночка умница.

Поднялись и пошли себе. Выходя, говорит барыня Арине Ивановне:

— Вы напугали меня, Арина Ивановна, я думала бог знает что такое, а вышло пустяки такие, что даже и понять-то трудно.

— Да вы напрасно Игрушечку не изволили допытать…

— Полноте, Арина Ивановна, пусть себе болтают что хотят. Зиночка у нас умница!

Зиночка умница! — к барышне опять обращается барыня…

А у хваленой умницы такие-то глазки печальные да тоскливые, что вот-вот слезы покатятся, и вздохнула она тяжело.

Арина Ивановна все не спокойна была, и долго она меня после этого душила: скажи да скажи, о чем тогда говорила с барышней.

Барышня все больше ко мне привыкала. И то сказать, что мы ведь всё вместе с нею были. Утром, бывало, проснется барышня, оденет ее Арина Ивановна и поведет к господам здороваться, и я за ними следом иду. Господа за чаем сидят. "А, Зиночка пришла! А ну, Зиночка, присядь!" — говорит барыня, а барин какое-то чудное слово, не русское, велит ей сказать. После того барышне чаю нальют, а мне окрайчик хлеба белого кинут, да и отпустят нас в детскую. Случится ли, что господа сами в детскую придут, то ненадолго. Сядут да и смотрят на барышню, любуются, усмехаются. "Любишь меня, Зиночка?" — спросит барыня. "Люблю", — ответит барышня. "А меня, Зиночка?" — спросит барин. "И тебя люблю". — "Смотри-ка, ротик у ней какой миленькой!" — поймает барыня за бородку барышню, да и кажет барину. "А глазки? — ответит барин, — а ручки-то? а ножки-то?" Обцелуют ручки, и ножки, и ротик, и глазки и уйдут себе…

Арина Ивановна день-деньской хозяйством занята, одни мы себе в детской играем…

Барышня скоро от игрушек отстала — разве уж какую мудреную очень купят, что или звенит, или вертится, — разве такая ее забавит; станет она доходить, как это все сделано да сложено. Любила барышня больше размышлять, да говорить, да слушать. Бывало, подсядет ко мне: "Игрушечка, скажи мне, как ты прежде жила?" Я ей рассказываю, что помню, а она сидит смирнехонько, тихохонько и, ушки навостривши, слушает, слушает... И об чем уж она ни расспрашивала: как землю копают, и как конопли растут, и как их берут, и как крыши кроют, и как холст ткут... Ну, я-то что сама слышала, что на мой глупый разумок детский взбредет, то и горожу ей, бывало. А она так все замечает; глаза у ней такие пристальные, внимательные — точно ей вот это все не нонче, завтра надо самой и уметь и делать... И случалось, что так меня обнимет она крепко и говорит мне: "Игрушечка? я б сама не дошла, как все это делается. Кто ж у вас додумался, Игрушечка?" — "Да я не знаю, — говорю ей, — кто додумался, а все у нас умеют". — "Может, твоя мама, Игрушечка?" — "Может", говорю.

Прелюбопытная, препытливая была барышня. Бывало, как на нее найдет — засыплет расспросами да вопросами: на что это? как то? почему так? зачем этак? Ну, барыня была ленива, чтоб ей что толковать, сейчас на нее тоска нападала:

— На тебе конфетку, Зиночка, да иди себе играй, мой друг!

— Я не хочу твоей конфетки, а ты мне расскажи то и то, — говорит барышня.

Помню, один раз спрашивает она: "Мама, отчего все птицы не говорят?" Барыня уж видит, к чему дело клонится, — вздохнула тяжело.

— Вот, — говорит, — вот, Зиночка, ты уж опять пошла с расспросами!

— Да ты скажи, отчего все птицы не говорят?

— Не умеют.

— Отчего ж попугай умеет?

— Попугай ученый.

— Отчего других не учат?

— Ах, мой дружочек, кто ж их знает! Вот у мамы голова уж болит. В Москве, кажется, ученых птичек продают, поедем — я тебе куплю. — А сама к дверям норовит. Барышня за Москву ухватилась.

— Постой, мама, где Москва?

— Далеко, мой друг, очень далеко — пусти меня.

— Какая это Москва? расскажи.

— Большой город; много игрушек, много конфет продают для умных деточек.

— А еще что?

— Улицы большие, дома, — пусти, дружочек!

— А кто Москву построил?

— Не знаю, мой ангел, ей-богу, не знаю. Да тебе-то на что, кто б там ее ни построил?

Барышня все за полу держит, задумалась и вздохнула.

— Ах, мама, — говорит, — отчего это ты все не знаешь да не знаешь?

А барыня ей:

— Одному богу известно, в кого ты любопытная такая!

— Мама! где бог?

— Ах, дружочек! — ответила барыня в тоске великой: — да на небесах, а то где ж?

— Как же у него там на небесах?

А барыня проворненько юрк за двери. "Арина Ивановна! кличет: идите, займите чем-нибудь Зиночку".

Барышня и на глаза Арину Ивановну не пустила. Зашла себе в уголок и заплакала.

Потом к барину побежала.

— Папа! скажи мне, как у бога в небесах!

А барин сидел себе в креслах, какие-то картиночки переглядывал посвистываючи; вдруг, откуда ни возьмись, барышни, как из-под земли, перед ним: "Скажи, как у бога на

небесах?" — а у самой слезы так и льются. Барин совсем оторопел.

— Оленька! Оленька! — кричит барыне: — дай Зиночке конфет.

— Я не хочу конфет, — рыдает барышня: — ты скажи, о чем спрашиваю!

Барин ее за головку взял.

— Не болит головка? — спросил.

— Ну хоть скажи, кто Москву построил? — пристает барышня:— расскажи мне хоть что-нибудь!

И так молит его: ручки сложила, припадает к нему. Барин пощурился, пощурился на стены, да вспомнить, видно, не вспомнил ничего.

— Давно кто-то построил. Теперь уж забыто, кто.

— Как же это забыто, папа? И все забывают?

— А ты как же думала? Разве все можно упомнить?

— О, папа! — говорит ему: — мне жалко забывать! Я бы все хотела знать и не забыть.

— Да что тебе пришло в голову, кто Москву строил? На что тебе?

— Так; знать хотелось, кто и какой был тот, что строил, — сильный, большой?

— Не знаю, — смеется барии: — ведь я его не видал. Может, великан, а может, с тебя. Хочешь, я тебе картиночку подарю — Москва представлена.

Поискал меж книгами и дал ей картиночку:

— Вот тебе Москва, поди-ка, рассмотри в детской. Барышня пошла от него.

Подержала в руках картиночку и отшвырнула от себя на пол. Поплакала себе еще потихоньку и притихла — задумалась, а играть с того вечера уж со мной не играла.

И часто она вот так-то всех дивила. Что дальше, то все она пытливее да привязчивее, тут еще захворала да нравная такая стала, ничем ей не угодит никто.

Арина Ивановна ей и варений и печений, господа игрушек — "не надо! не хочу!" И от всего отворачивается.

— Да чего ж ты хочешь, Зиночка? — спрашивают у ней господа.

— Говорите со мной!

— Ну что ж? О чем?

— Обо всем!

Тяжело барыня вздыхает, глядючи на барина, а барин в ответ плечами пожимает — оба не придумают, как тут горю помочь. Нанесла ей раз барыня картинок разных и рада была, что барышня занялась ими, — а тут беда вышла. Попалась барышне картинка — гора огненная: "Что это? отчего огонь?" — "Это гора огненная", говорят. "Что значит огненная? Отчего бывает огненная?" — "Из земли огонь выходит". — "Отчего выходит?" — "Так, такая уж гора". — "Как так? Ну, пусть у нас огонь из горы выйдет". И пристала: "Скажи, отчего огонь", — и плачет и кричит. Барина позвали... "Зиночка, — говорит барин: — есть, дружочек, такие горы, что вспыхивают; они далеко — а у нас горы простые". Рассказал-то барин хоть не понятнее, да вид у него был важней, чем у барыни. Ну, а барышня все-таки свое: "Скажи, отчего огонь у нас не вспыхивает, отчего там вспыхивает?" Барин и осерчал немножко: "Что это, Зиночка, пристала! Ты всех нас замучила".

Она ничего не слушает, разливается — плачет. Да стала еще к тому хворать и шибко росла, просто не по дням — по часам росла... и все чудней становилась. То, бывало, по целым дням шумит, ко всем придирается, привередничает, и того хочу и другого хочу — ей всем угождают, — тогда она все бросает: "Не надо! мне скучно!" и плачет... А то бывало так: сидит она целый день, не шевельнется — думает, и как примется глядеть куда с утра, то до вечера глаз не отведет, на стену ли, в окно ли смотрит, и не видит, а говоришь с ней — не слышит. Чаще да чаще стало на нее находить... Господа очень сокрушалися: и покою с нею нету, и что из нее выйдет, один бог весть. Давно еще они поговаривали, что надо Зиночке учиться, пора, да все сбирались выписать ей учительницу, а тут уж они мешкать и откладывать не стали и говорят барышне:

— Зиночка! к тебе скоро тетя славная приедет, станет тебя учить, — ты будешь умница? Ты ее слушаться будешь?

— Не знаю, — отвечает барышня. — Она-то меня тоже будет слушаться? Когда я буду о чем спрашивать, она от меня не уйдет, как ты? — говорит.

— Нет, мой дружочек, она всегда с тобой будет, — ублажает барыня: — она тебя всему научит, и ты будешь умная, умная девочка.

— Так я буду ее слушаться! — вскрикнула барышня. — А когда ж она приедет?

— Скоро.

Барышне уж загорелось: что не едет да что мешкает. Ждет не дождется своей учительницы. Только у ней и речи что об ней. "Игрушечка! — говорит мне: — ты рада ей будешь? Очень рада ты ей?.." Не рассудит, какая ж мне-то радость? И кто ее знает, какова приедет…

Приехала немочка выписная. Смирная такая, молоденькая, беленькая и рукодельница великая: никогда она без работы не сидела. В будни шьет, в праздник чулок вяжет, и так вяжет, на память, не глядя на спицы, а сама книжку читает. Барышня ее встретила с радостью такою — так ей в глаза и смотрит. Принялась она за ученье немецкое, — что и засыпает, твердит уроки да слова немецкие. И скоро все понимать стала, Слушаючи, и я себе словцо-другое запомнила. Только не надолго наша барышня к немочке прильнула, не по ней она была совсем — всего боялась, на всем запиналась, мешалась; а барышня — к огню ее можно приподобить — такая была; еще ж и хворая — так гневная и нетерпеливая. Начала барышня немочку гнать.

— Барышня, — спрашиваю: — за что вы всё на немочку сердитесь?

— Ах, Игрушечка! — отвечает, ручки свои сжавши: — она меня измучила! Я б ее и видеть-то не хотела!

— Да за что ж так?

— Ах, Игрушечка! ты еще не знаешь, какая она мучительница! Прошу ли ее: погодите читать, расскажите мне вот это, нет, никогда не позволит. Что мне придет в голову, так захочется знать поскорей, поскорей, а она: "Пишите! урок учите!" Я плачу, я прошу — нет, никогда не послушает, не пожалеет! Я б ее очень любила, а теперь видеть не хочу!

Ну, думаю, на тебя трудно угодить! С тобою надо умеючи да умеючи! А немочка сама только что из детей выходила, где ей с такой быстроумкой справиться; да и от природы она тиха была очень и смирна и плоха-таки немножко. Немочке тоже не весело приходилось, частенько, бывало, всплакнет. Всем в доме ее жалко было.

Прежде Арина Ивановна очень косо на нее глядела, а там видит, что немочка и воды не замутит, утихла, только сердилась на нее, что по праздникам работает. "Через эту безбожницу, говаривала, и нам еще беда будет! того и гляди, что или пожар, или гром ударит, что у нас господни праздники не соблюдаются!" Да, слава богу, случая не было никакого. И то оказать, какой это грех работать? И сложа руки спасенья ведь не захватишь! И часто, бывало, Арина Ивановна спрячет у немочки работу в праздник, — та ищет, тревожится, не найдет никогда, вот и празднуй, хочешь не хочешь; а в пост не дает ей сливок к кофею… немочка все ничего, разве поплачет втихомолку. Что дальше, то бедной немочке хуже: барышня уж

и вправду глядеть на нее не хочет. Увещала ее барыня, а у барышни весь ответ: "Отошли ее, мама, я ее не хочу видеть!" Раз, барышня уж почивала, кличет меня немочка, просит воды. Я ей воды подала, вижу, что у ней глаза опять заплаканы. Я и спрашиваю, то словом, то знаком, как умею, о чем она плачет? Залилась немочка слезами да рукою показывает на детскую, "сердитая", говорит.

— Нет, — говорю я ей, — она не сердита. — Хочу ей растолковать, да не сумею.

— У вас же дети какие? — спрашиваю. Она меня поняла. Села прямо и чинно на стуле, глазки опустила и начала спицами перебирать проворно. — Послушные, рабочие дети у вас? — говорю.

— Да, да! — отвечает и пуще в слезы.

Еще она у нас пожила, потерпела и попросилась, чтоб ее отправили. Ее и отпустили.

Барышня сначала, кажись, и рада очень была, что немочка едет, а при прощанье вдруг затосковала, крепко так немочку целовала и все на нее глядела, глядела, глаз не сводячи. Все в доме об немочке жалели, а забыли ее скоро тоже все. Добра вот была и приветна, да чужа как-то: ни она по нас, ни мы по ней не пришлись.

Дольше всех ее барышня помнила и раз мне говорит:

— Игрушечка, всегда Каролина Карловна такая будет?

— Какая? — спрашиваю.

— Часовая.

— Как часовая?

— Да все у ней по часам, и сон и слова.

— Да, вашей бурливости от нее не дождаться, — смеюсь, а барышня стоит и о чем-то раздумывает.

На место немочки привезли ей француженку, крошечную бабеночку, вертлявую, носик у ней ястребиный, глазки так и бегают. Все она тихонько покашливала и ходила по горницам, высокими каблуками постукиваючи. А кланяться она так кланялась, что ни к кому спиной не оборачивалась. Барышня ждала ее — не радовалась. "Не приедет такая ко мне, как я хочу!" — говорила мне и встретила француженку угрюмо, да та ее сразу озадачила: бросилась обнимать, целовать, схватила на руки, зачастила словами, по-русски она говорила куда смешно. На другой день француженка в куклы стала с барышней играть и усы себе навела чернилами, — барышня все не поддается ей, только улыбается, будто нехотя, и глядит на нее пытливо, и говорит мне: "Игрушечка! какие разные люди-то бывают!" Билась, билась француженка, все барышня дичится.

Вечером вижу, француженка манит меня из дверей к себе. Иду. Она меня по щеке потрепала и дает мне старенькую ленточку, а сама шепчет: "Слушайся меня, я тебя буду дарить". А я молчу. "Ты всегда с барышней?" спрашивает. "Всегда". — "Как же вы играете, что барышня любит?" — "Разговаривать любит". — "Как так?" — "Любит, говорю, чтоб рассказывали ей все, а она чтоб слушала". — "Хорошо, хорошо, — шепчет мне, — говори мне все, что знать будешь, я тебя всем обдарю. Смотри ж, никому о том не скажи". И махнула рукой: "Иди". Я

пошла от нее, да и думаю себе, барышнины слова вспоминаю, что каких-то людей на свете нет!

На другой день француженка в такие рассказы пустилась; без умолку говорит, говорит — барышня слушает и все к ней ближе подвигается… Что долго рассказывать? В месяц она барышню совсем в руки взяла; слова ее слушается барышня, не отходит от нее. Господа радуются себе, что барышня повеселела, не знают, как им Матильду Яковлевну благодарить и чем; то и дело ей подарки, а Матильда Яковлевна руки к груди прижимает да приседает перед ними. Скоро она прибрала к рукам и барыню и барина: ее обо всем спрашивают, с ней обо всем советуются.

Арину Ивановну точило горе: невзлюбила она француженку, а видела, что та всем домом вертит и даже ее ненависти не замечает, а ненавидела ее Арина Ивановна всей своей душой; походку ее заслышит — изменится в лице. Да уж не прежняя немочка безответная это была, чтоб ее постным силой кормить — нет! с этой шутки плохие. Она сейчас к барыне и этак, шутя да смеясь, все расскажет, — веселехонько, хоть у самой на сердце кошки скребут. И зовут Арину Ивановну к барыне. Арине Ивановне выговор…

А мое житье какое было? Хоть попрежнему я была при барышне, да уж была я одна-одинешенька; барышня совсем меня бросила, все с француженкой, все с Матильдой Яковлевной, а я с утра приду, простою у притолоки день целый, так меня и не вспомнит никто. И Арина Ивановна, и та пренебрегла тогда мной; она не заметит, стукну ли я, войду ли, не то чтобы, как прежде, надзирать за мною, следить. Правда, что она стала не такая нападчивая, — задумчива ходила и сурова, а тиха. То я, бывало, с барышней поговорю, то от Арины Ивановны стерегуся, а тут я осталась уж совсем ни при чем. Сердце мое очень ныть стало… что некуда и не к

кому мне пристать на всем свете белом… Сижу в каком-то я раз полусно и слышу, кличет Матильда Яковлевна и дает мне в руки свою шкатулочку. "Хочу, чтоб починили хорошо!" — говорит и показывает, что уголок отклеился. Я схватила эту шкатулочку обеими руками, да никого не спрашиваючи, опрометью, через сад, к столярной. У самой сердце стучит, вот будто я из темницы вырвалась. Бегу, бегу, а прибежала к дверям и оробела. Тихонько двери отворяю — вижу, там человек пять на работе: кто стругает, кто пилит, кто меряет; по окнам везде стружки, на полу тоже стружки ворохами навалены. Все ко мне обернулись, все на меня глядят: "Что ты? зачем ты?" Я показываю им шкатулочку. "Андрей, а Андрей!" — стали кликать, и вижу, высокий человек из боковой горенки выходит… Я его сейчас узнала, вспомнила, как он мне говорил: "Бедная ты девочка завезенная! выздоравливай-ка ты скорей!" Все такой же он был, и веселый, и кудрявый, и ласковый. И он меня узнал. "Ишь, как выросла, сказал, ну расти себе, расти!" А другие у меня шкатулочку уж взяли, ему показывают, разглядывают, спорят. Один там, бойкий такой, все он стоял подбоченившися. "Я, говорит, могу и получше этакой сделать".

А ему другие: "Да ты и такой не сделаешь!" — "Лучше сделаю!" Спорить опять начали. Андрей мне говорит: "Приди завтра за шкатулочкой, будет починена". — "Можно мне стружечку взять?" опрашиваю. Он захватил полны руки тех стружек, да и обсыпал меня всю ими…

И целый день все я после думала, что вот завтра я опять пойду туда, и что завтра мне Андрей скажет, усмехнется ли, глянет ли, или он меня не заметит за работой?..

Ходила я, и он меня приветно опять встретил и сказал: "Собраться надо да тебе игрушечку какую сделать!" С той поры так меня и тянет туда, да не смею и скучаю. И что сделала. Держу я раз барышнину игрушку — барин ей привез

домик, совсем настоящий домик, — верчу я тот домик да думаю: "Домик, домик! что бы тебе изломаться-то! а меня послали б чинить отдавать, и я б побежала… Что бы тебе, домик, рассыпаться!" а домик — хруп! да и рассыпался. Перепугалась я тогда. Не так барышни боялась, а что достанется от Арины Ивановны, что от Матильды Яковлевны будет. Стрелой я пустилась прямо к Андрею. "Что такое? Что?" спрашивает, а на мне лица нет. "Не бойся, не бойся, я починю, никто не узнает. Ах ты, бедненькая, как перепугалася!" Смеется…

Живем так-то, каждый с своею заботой, и вдруг замечать стали, что барышня совсем нравом изменилась, и опять на нее стало находить. То она от Матильды Яковлевны шагу не отступала, а то сторониться стала. Перестала ее расспрашивать, почти и говорить с ней перестала. Подаст урок, да и молчит целый день. Хочу, бывало, я к ней подойти, да не смею, боюсь Матильды Яковлевны, а барышня сама не позовет и, словно она никого около себя не замечает, сама с собою шепчет.

Матильда Яковлевна совсем не та стала к барышне, суровей и строже; уж не то чтоб у барышни ручки целовать, как сначала, она уж и прикрикивать на нее стала. Как прибрала она господ к рукам, то ничего не боялась. Барышня долго терпеливо все переносила, что я только дивлюсь, а Арина Ивановна божилась, что француженка околдовала барышню. Спрашиваю я: "Барышня! очень вы Матильду Яковлевну любите, что вы все от нее сносите?" — "Игрушечка! — отвечает мне: — она рассказывает так хорошо и много, много всего знает. Может, она мне еще расскажет что…" И все сидит около Матильды Яковлевны, и тихо ждет, и тихо вздыхает… Матильде Яковлевне она надоела скоро; стала она от себя прогонять ее и стала над нею подсмеиваться… Раз Матильда Яковлевна уж очень с ней дерзко обошлась,

накричала, набранила, и было барышнин нрав прежний проявился: вспыхнула она и заговорила так, что Матильда Яковлевна струсила и все в шутку обернуть захотела.

Барышня от нее отвернулась и ушла. Не говорит она с того часу с Матильдой Яковлевной, не подходит к ней. Матильда Яковлевна хоть спокойный вид на себя принимает, а крепко тревожится и все у меня выпытывает: "Что барышня? что говорила? С кем говорила?" Я вижу; что и барышня не спокойна: ухожу я от нее поздно вечером — не спит, ранним утром застаю — не спит. "Барышня! говорю, чего заботные такие?" — "Тяжело мне!" ответила. "Матильда Яковлевна вас огорчила?" И она опять: "Тяжело мне, Игрушечка!" Прошло сколько дней. Все барышня в тоске, и все, видно, душа ее волнуется. Одним утром прихожу, застаю, что она уже совсем одета, стоит подле окна. А лицо у нее было тогда такое, словно она кого одолела или решилась, пошла на что. Быстро ко мне обернулась и спросила: "Матильда Яковлевна встала?" — "Нет еще", говорю. "Скажи мне, как встанет, сейчас же скажи, Игрушечка!" Я пошла, дождалась, пока Матильда Яковлевна встала, прихожу и говорю. Она изменилась в лице. Постояла середь горницы и пошла прямо к Матильде Яковлевне. Та сидела, чай в своей горнице пила около столика. Удивилась очень приходу раннему и пытливо глядит. Тихо подошла к ней барышня и тихо села около нее на скамеечке, как прежде садилась ее рассказы слушать, и сама так глядела она на Матильду Яковлевну, словно и корилась ей, и просила, и ласкалась… У Матильды Яковлевны глазки сверкнули — обрадовалась, только радость свою скрыла и едва глянула на барышню. Стала ей выговаривать и попрекать; барышня все белей да белей становится и молчит. Замолчала и Матильда Яковлевна сердито. Пыталась барышня с ней заговорить и такие тихие да ласковые ей слова говорила… Матильда Яковлевна все-таки ей надменно отвечала и грубо так… Приехали гости, за Матильдой Яковлевной прислали, она с

собой барышню кликнула; та за нею покорно пошла. Гости спрашивают, чего это Зиночка изменилась?

И господа тогда вдруг перемену увидели, встревожились. Матильда Яковлевна берет барышню за руку и середь гостиной ее выводит и давай рассказывать: что вот какая Зиночка упрямица была, да теперь сама хочет исправиться, вот сегодня прощения просила… "Да?" — спрашивает у барышни. Та чуть слышно что-то сказала; бледна она стояла и вся дрожала. Хотела уйти — Матильда Яковлевна не пустила, около себя посадила. Гости все стали тогда барышню хвалить, целовать, стали советы ей давать. Господа радуются, а Матильда Яковлевна все говорит им: "Да, вы недаром свою Зиночку на мои руки отдали!" Сказал ли кто слово лишнее или чем другим обидел барышню, только она пришла из гостиной словно больная и очень долго плакала… С этого дня отшатнулась она от Матильды Яковлевны навсегда, навек…

Спохватилась тогда Матильда Яковлевна. Давай заискивать, всячески ухаживать, ублажать — ничего уж не помогло: только, бывало, посмотрит на нее барышня так, что будто и жалеет ее и брезгает ею… Матильда Яковлевна боялась, чтобы господа печали барышниной не заметили, чтобы не вздумала барышня на нее жаловаться…

Барышня не жаловалась, только еще стала она задумчивее, очень поскучнела и часто плакала. И плачет, бывало, уж не попрежнему, с криком да с сердцем, тихо себе плачет да горько… Все это замечала Арина Ивановна, и уж не раз она к барышне тайком пробиралася; ручки у ней целует. "Я ваша слуга верная, я!" — все твердит, а та и слушает и не слышит.

— Чего вы всё не веселы, все скучаете? Замучила вас, видно, ученьем-то, мое сокровище? — говорит барышне.

— Да я ничему не выучилась и ничего не знаю, как же замучила? — ответит печально.

— Ах она, ехидная! — воскликнула Арина Ивановна: — сколько времени учит, а ничему не выучила! Да она нарочно ученье тянет, чтобы побольше поживиться от папеньки, от маменьки… Да она обманщица лукавая!

И, верно, ее слова барышне западали в душу, все она печальней становилась. "Игрушечка! — часто говаривала, — никто нам правды не скажет истинной! Вот как, Игрушечка!" Матильда Яковлевна все видела, все знала, как Арина Ивановна барышне нашептывала, как к ней тайком прокрадывалась, видела, а молчала, будто не до нее дело, и весела была всегда и говорлива; хоть часто, бывало, с сердцов у самой ручки дрожат, а улыбается и глазки щурит ласково…

Минуло барышне четырнадцать лет. Тут уж и все стали замечать, что она умом мешается… забывать стала имена… Особенно начала она мешаться, как побывала на похоронах. Умерла в соседстве богатая барыня, и весь околоток зван на похороны. Пышно ее хоронили — такой ее последний завет дан детям, — и наши господа были и барышню с собой брали… Только она приехала, я сейчас заметила, что глаза у ней нехороши. "Игрушечка! — шепчет мне, — ты видала мертвых?

Понимаешь ли, что значит умереть?" Я хочу о другом заговорить, она меня не слышит и все себе твердит одно: "Живет человек, умирает человек; все живут, все умирают". И кто к ней ни подойдет, она всем одно и то же… Ничем ее нельзя отвлечь от мысли той, ничем рассеять. Господа тогда перетревожились, послали за лекарем. Лекарь говорит: "Помешана". Помешательство, ее было тихое; иногда она как будто и в себя приходила. Слез ничьих не могла видеть, вся побледнеет, бывало, задрожит. Я ей говаривала: "Не

тревожьтесь, барышня; со всеми горевать не станет вас". — "Игрушечка! — отвечала мне: — когда плачет человек, ты знаешь ли, как ему больно! А я знаю! я знаю, как больно!" Мало ей лекарством помогали. Стала она всех дичиться; потом стала от всех бегать, — тоска у ней безотходная была, ныла она да чахла. Перестала узнавать — ни отца, ни матери не узнавала. Кручинились господа. Громко Матильда Яковлевна вздыхала. Соседи приезжали проведывать, смотрели на нее из-за дверей, жалели, а она стоит середь горницы, думает, думает, словно хочет что-то припомнить, да не дается ей, и в муке великой она за голову берется... А то плачет горько, горько плачет по целым часам. Спрашивай — не ответит, не заметит или испугается — убежит. С горя по барышне и барыня хворала это время. Матильда Яковлевна все около нее, утешала, успокоивала, а я при барышне. На моих руках она и умерла...

В розовый бархатный гроб положили ее, сухонькую, худенькую, и такое у ней было личико заботное, такое печальное — вот, кажись, большие глаза откроются и в сомненье она станет спрашивать о чем-то...

После барышниной смерти барыня меня за собою ходить приставила. "Она за Зиночкой ходила — я хочу, чтобы она и при мне была". А время своим чередом пошло, стали привыкать, слезы высохли, только вздохнут о барышне, как вспомнят, да поскорей речь о другом заводят, повеселей... Сняли черное сукно со стен: опять и шумно и весело в хоромах; опять господа обеды званые дают. Матильда Яковлевна все у нас живет, да и отъезжать, видно, не думает. Она с господами неразлучно; барыня только глаза откроет, уж Матильду Яковлевну кличет. Матильда Яковлевна и книжки вслух читает, Матильда Яковлевна и гостей забавляет, она ж их и осудит, и осмеет, и передразнит, как выпроводит. Вот это, бывало, по вечерам, если случится, что никого гостей нету,

Матильда Яковлевна и почнет в разных лицах являться: то генеральшей войдет Чернихинской, ну совсем генеральша, так же и шаль по всему дивану распустит, чтоб никто рядом не сел, и посматривает так же строго на всех... то представит карачевскую барышню, что все вздыхает и платочком обмахивается... всех она, бывало, переберет, всех-то до единого. И очень господ этим утешала: так хохочут, что приходилось иногда обоих водой брызгать... А Арина Ивановна ночей не спит, в тревоге она да в сомненье: стала Матильда Яковлевна что-то часто в хозяйство вмешиваться, войдет к Арине Ивановне: "Дайте ключи!" — и, не дождавши слова ответного, возьмет сама и пошла по кладовым шарить. Барыне жаловаться было нечего, с каждым днем больше ее обходила Матильда Яковлевна. В обиде, в досаде, в тоске сидит себе одиноко в своей комнате Арина Ивановна; похудела и пожелтела; перестала к попадье в гости ездить, перестала и к обедне по воскресеньям ходить. С нами то вдруг ласковая такая, такая приветная, свои сны нам рассказывает, работой нашей не нахвалится, то вдруг раскричится, разлютуется, все не по ней, все нехорошо, грозится: и то и другое будет вам...

Если встретится с Матильдой Яковлевной лицом к лицу — всякое дело бросает, прочь бежит. А Матильда Яковлевна и не пускает, останавливает и своими словами ласковыми да приятными разобидит ее и до самого сердца доймет, а за обедом льстивым голосом спрашивает: чего задумалася? здорова ли?

Побелеют губы у Арины Ивановны, глухим голосом она за внимание благодарит, а Матильда Яковлевна усмехается да шейку вытягивает. "Что, что? я не расслышала, говорит, что?" И благодарит ее Арина Ивановна в другой раз за внимание... А то помню, как подошла она к Арине Ивановне и приласкала ее: "Милая моя!", а сама ее по плечу потрепала, глазки прищуря с улыбочкой. Задрожала вся Арина Ивановна, и дух у ней

занялся, не может слова вымолвить, глаза черные засверкали — а та на нее глядит все усмехаючись да легонько по плечу ее треплет…

Выговаривала Арине Ивановне барыня: "Что это вы, Арина Ивановна, всё такие скучные, — вы и на нас, милая, скуку наводите, да и смотреть вы стали так угрюмо. Заговаривает с вами Матильда Яковлевна, вы едва отвечаете, как же это можно так, это невежливо…" Начала седеть Арина Ивановна…

Раз Матильда Яковлевна долго с барыней запершись в спальной сидела, и выбежала Матильда Яковлевна очень весела оттуда, прямо к Арине Ивановне. "Дайте ключи, говорит, дайте, милая Арина Ивановна моя, вы теперь уж будете на покое — поздравляю!" — "Как? — проговорила Арина Ивановна. Потом бросила ей ключи на стол: — Чтоб тебе добра не было, змея подколодная! а я тебе этого не забуду!" Матильда Яковлевна, как ни в чем не бывало, схватила ключи и побежала. Слышала ли она, что ей Арина Ивановна сказала, нет ли — кто ее знает.

— Поеду от вас, — говорит нам Арина Ивановна, — поеду, да нигде мою злодейку не забуду!

Пошла она к барыне: "Покорно благодарю за милости ваши, сударыня! Пусть вам другие лучше моего послужат!" А барыня ей: "Что это значит? Вы куда сбираетесь разве?" — "Приказали ключи у меня отобрать, значит, я не надобна", — говорит Арина Ивановна. "Полноте! Я это сделала для Матильды Якввлевны — ей хотелось похозяйничать, а вы все-таки оставайтесь у нас; зачем вам уезжать? Да мы привыкли к вам, и вдруг вас нет — останьтесь, Арина Ивановна, останьтесь.

Будете Матильде Яковлевне помогать". Подумала-подумала Арина Ивановна и осталась.

Прошло после этого месяцев, может, с пять. Матильда Яковлевна на целый дом ключами гремит и свои приказы выкрикивает. Арина Ивановна с утра до вечера в своей горенке, редко и к обеду выйдет, все жалуется: "Больна! неможется!" И глянуть на нее — иссохла, извелась; в лице у ней ни кровинки, или уж огнем щеки горят; глаза у ней беспокойные, блестящие... А Матильда Яковлевна то ей варенья с ложечку пришлет, то сливок в чашечке на донышке... Слуги-то меж двух огней; и не понести боишься: Матильда Яковлевна пошлет да сама за дверями слушает — отдашь ли; и подать боишься, что Арина Ивановна посланцев неласково принимает — чем попало им в голову, а приношение об пол. Так-то было сначала, потом Арина Ивановна не то присмирела, не то сама гневом своим утомилась, — только глянет да головой кивнет...

Так мы петрова поста дождали. Петровками на первой неделе, в ночь, внезапно Матильда Яковлевна захворала: кричит, вопит, — весь дом подняла на ноги. Скорей за лекарем — нету, на следствии; за другим — к какой-то барыне в чужой уезд взяли; а Матильда Яковлевна не своим голосом кричит: "Умираю! умираю!" Ей и припарки и примочки — хоть бы что помогло. Все в тревоге большой, в страхе, только Арина Ивановна из своей комнаты не выходит. Побежала за ней.

— Сама больна! — ответила.

— Матильда Яковлевна умирает! — говорю.

— Туда ей и дорога!

— У вас лампадка потухла, зажечь?

— Не надо. Иди себе.

Как лежала лицом к стенке, так и не обернулась.

Барыня заметила, что ее нету. "Что это значит, отчего не пришла Арина Ивановна? где она? Позовите ее". Тогда она пришла, бледна очень, завернувшись в черный платок. "Арина Ивановна, — к ней барыня. — Что тут делать? как быть? Не стыдно ли вам, что стоите вы как каменная, ни за что не возьметесь, не поможете? ведь она может умереть!" — Я ее от смерти не спасу, сударыня, если ее час пришел! — так-то мрачно ответила, что барыня примолкла и только охнула. А Матильда Яковлевна как увидала, что Арина Ивановна подходит, руками замахала на нее и закричала: "Не подходить! не подходить ко мне!" Как стала в углу Арина Ивановна, недвижно целую ночь простояла. К свету Матильда Яковлевна померла… Стоят все над покойницей, и тужат, и дивятся, что вот смерть-то скорая да нежданная. Подошла и Арина Ивановна, на нее поглядела, а перекреститься не перекрестилась и прощаться не стала. Барыня плакала и Арине Ивановне говорила: "Ах, Арина Ивановна, как жаль-то ее, как жаль! Распорядитесь похоронами, хороните се поскорее — я сама боюсь заболеть от грусти!" И приказ отдала никогда к столу грибов не подавать — говорили, что смерть Матильды Яковлевны от грибов: она всегда приказывала для себя особенно к ужину грибы готовить и того вечера ими ужинала. Похоронили Матильду Яковлевну, а добро ее все барыня Арине Ивановне отдала.

В сумерки пошли мы перетаскивать сундуки к Арине Ивановне в горницу; Арина Ивановна и промолвила: "Хотела, молвит, ты у меня кусок хлеба отбить, хотела меня выжить, да

вот сама в сырой земле лежишь! Теперь на моей улице праздник!" И усмехнулась.

"Запирайтеся, двери, запирайтеся! — приговаривает, захлопываючи двери: — пустей, горенка замкнутая!" Да вдруг как вскрикнет не своим голосом, мы чуть сундук не упустили — оглянемся, она бледная как смерть, вся дрожит. "Что такое? что такое?" Никак от нее не добьемся и от дверей ее оттащить не можем. "Поймала меня, не пускает, поймала!" — шепчет Арина Ивановна и в ужасе великом крестится рукой дрожащей. А то она сама свое платье дверью прихлопнула, да примстись ей, что ее покойница поймала. Ну, огляделись, успокоились, посмеялись. Усмехнулась и сама Арина Ивановна, да не душевно она усмехнулась, и видели мы, что все она крестится, и молитвы шепчет, и вздрагивает, и озирается...

Вечером сидим мы, девушки, за работою в девичьей, а колокольчик динь-динь беспрестанно: все кличет Арина Ивановна то за тем, то за другим. То спросит, не идет ли дождь, то воды велит подать, то кошку ей принесть. "Что это Арина Ивановна сегодня раззвонилась?" — говорим меж собой. На другой вечер опять поминутно кличет. Две свечи горят у ней в горнице — когда это видано? Вздумала нитки мотать и меня держать моток позвала. Я стою да со скуки гляжу ей в лицо. "Какое мрачное у ней лицо-то!" думаю. И все она к чему-то, прислушивается, все ее словно дрожь пронимает, и то и дело со свечей снимает. "Тускло как горят, слепые свечи!" — все приговаривает. А свечи были как свечи и горели ярко.

— Игрушечка! — говорит она мне и усмехается, да так усмехается, что мне чего-то ее жалко стало, сама не знаю чего, а стало ее жалко:— Игрушечка, расскажи ты мне сказочку какую-нибудь!

— Я не знаю, не умею, — ответила я ей.

Она замолчала и опять мотает. Много мотков в тот вечер она перемотала. Пробил первый час.

— Поздно! — говорит. — Как скоро эти часы бегут: не успеешь оглянуться, уж и ночь. Ну, Игрушечка, ступай себе. Да постой! Что, ты все еще боишься в чуланчике спать?

— Нет, — говорю, — привыкла.

— А то приди-ка ты ко мне ночевать. И тебе б веселей, да и мне прислужишь случится, вот вчера кликала, кликала воды подать, никого не добудилась. А у меня сегодня что-то голова болит.

Принесла я свою постелю в ее комнату, жду, что она ляжет, что свечи погасит. Она легла, а свеч не погасила. "Не надо, говорит, пусть их горят. У меня что-то голова болит — не спится". А сама все бледней да бледней, все вздрагивает да крестится, и на меня такой страх навела, боюсь, хоть сама не знаю чего. И до света мы с ней глаз не сомкнули. На другой день все на Арину Ивановну люди поглядывают, перешептываются, дивятся; она заметила. Вечером опять прихожу. "Иди себе, говорит, сегодня мне получшело". Я и пошла в свой чуланчик. Только я глаза свела — так страшно кто-то закричал, что я опрометью бросилась в девичью, а оттуда мне навстречу уж бегут, свечи зажигают, суетятся, все перепуганы.

Случилось что-то с Ариной Ивановной. Вбежали к ней — она вниз лицом на своей кровати лежит, как мертвая. Мы ее подняли, воды дали напиться; пришла она немного в себя. "Садитесь, садитесь", — сажает нас на свою кровать. Мы только смотрим друг на дружку, дивно да чудно нам, а Арина Ивановна то к тому, то к другому прижимается, как малое

дитя. "Не уйдите вы от меня, не уйдите! просит, не покиньте!" И господа услыхали, потревожились, звонят в колокольчик: что такое? кто кричал?

— Арине Ивановне что-то приснилось, Арина Ивановна кричала.

— Да что ж ей приснилось?

Тогда и говорят, что, верно, ей покойница Матильда Яковлевна привиделась.

— Какие пустяки! — вскрикнули господа: — вот выдумки несообразные! — А у себя, приказали сейчас же лампаду зажечь… С тех пор как вечер, так Арина Ивановна и скликает нас и рассаживает вокруг себя.

Днем еще ничего, и по хозяйству похлопочет, а как вечер — беда. И плачет и дрожит. Ночью у ней свечи не угасают и девушки очередуются, не спят при ней. То белое ей в окне мелькает, то чья-то ей походка слышится, то дунет кто-то ей в лице холодом, то чудится, что-то в уголку шевелится, то за собой смех слышит.

Стал слух носиться между людьми, что покойница к Арине Ивановне по ночам ходит и мучит ее за то, что смерти ее радовалась; много было об этом толков, много домёков… да ведь всего-то не переслушаешь, что люди говорят… только что на всех страх нашел; сами господа хоть днем и посмеивались и бодрились, а к вечеру начинали прислушиваться да оглядываться… Двери в той горнице, где Матильда Яковлевна жила, забили наглухо и каждую субботу покойницу в церкви поминали…

Понемногу стали успокоиваться — не находила покою одна Арина Ивановна до самой смерти. В страхе да в тоске она скоро и зачахла. Перед смертью у всех у нас прощения просила и с рыданьем говорила: "Помолите вы за меня богу! Помолите!" Священник, что ее исповедовал, тихий старичок такой, вышел от нее сам не свой и все крестился шел. Какое у ней было добро, какое имущество, Арина Ивановна на церкву да на нищих завещала.

После Арины Ивановны нам было вольнее: и на крылечке постоишь и сад обежишь — не боишься. Барыня за нами не следила, лишь бы ей все было готово, подано, а то что себе хочешь делай, где угодно будь. Кроме еще того, говорю, господа в последнее время в большой тревоге были и печали: совсем денег не было. Пшеницу они еще на корню продали, и стало им не надолго: отпраздновали барынины именины, а на свои барин больным сказался, не было ни обеду, ни пиру, и ставни велели затворить, чтоб видел, кто приедет, что так-то уж хворы, что и свету божьего глаза не сносят. Все барин письма пишет, а барыня через его плечо читает да вздыхает; ответные, верно, не хороши, не веселы шлют: как ни получат — призадумаются, совсем примолкнут.

Ходила я раз по саду, под вечер, вдруг прямо к моим ногам яблочко упало, да такое славное, наливное яблочко. Подняла я да оглядываюсь. Господи! откуда это? а невдалеке от меня Андрей стоит — смеется. "Испугалась?" спрашивает. "Нет", говорю… и давно ли он тут гуляет, спрашиваю. "Я давно уж гуляю". — "Как же я не видала"? — "Да я ходил вдалеке, сторонкой, да смотрел, как ты гуляла, как думала… и о чем так думала?" — "Мало ли что в голову придет, а рассказать-то ведь трудно, — ответила ему. — Какие славные вечера теперь стоят, погожие", говорю. "Да, — ответил он: — тихие". Да и разошлись мы… Я ему за яблочко и спасибо не оказала, как-то забыла. Ну, думаю, в другой раз увижу, скажу… На другой

вечер опять я в саду его встретила и за яблочко поблагодарила, да больше-то и не приберу, что ему оказать: опять вечер погожий похвалила… да "прощай" говорю.

— Что ж, если вечер-то вправду хороший, отчего не погуляешь? — спрашивает.

— Нет, — ответила, — нельзя, работа есть барская.

— Может, не к спеху? — промолвил.

— Нет, спешная… прощай…

И пошла. Оглянулась, он стоит и мне вслед глядит. А работы у меня не было тогда никакой, и сама я не знаю, зачем перед ним слукавила… Пришла в хоромы, села да до поздней ночи просидела под окошечком, сложа руки…

Стали мы каждый вечер встречаться… Он мне слово скажет, я ему — и разойдемся…

Неприметно свыкались. Кажись, что тут, одно слово перемолвишь да в его глаза приветные глянешь, — а присушило, приворожило на целый век… Всем он мне полюбился: и красой, и речами ласковыми, и разумом быстрым. Веселый был такой, на все-то отважный да бравый… Он мне за утеху и за совет стал. Затужу ли, загорюю ли, приду около него поплакать, он мои слезы осушит своим словом совестливым… И говорил он мне, бывало: "Не горюй! жить и так горько! Кручиною ты ничего не возьмешь — бери сметкой да спокоем!" Вот как я подле него, то и голову подниму, а нет его, кажется, что и земля из-под ног у меня уходит. Ведь как раз горе человека придавит, придушит, будет он на весь век знать. Сломи-ка верхушку с дерева, — после и роста его и

поливай, пойдут новые отростки молодые, побеги зеленые, — а верхушки все нет… И он тоже сирота был и взрос одиноко, да как-то ему далось все в руки: и сметливость, и веселость, и отвага, — а я себя только к тоске приспособила… Бывало, когда я его своей печалью запечалю, что смолкнет он, призадумается, так только кудрями шелковистыми тряхнет и словно с плеч ту печаль сбросит… не то что я с своей расстаюсь, будто нехотя, будто ее жалеючи… Настала осень дождливая, ненастная, вечера темные, густые тучи по небу бродят, разве сверкнет одна ясная звездочка и опять пропадет, а мы станем где под навесом около хором, частый дождь и бьет и сечет в горячее лицо — горюшка мало! Разве только скажешь: экой дождь славный!

А зимой! вьюга, метель, вихри снежные пусть себе морозят, заносят, только бы нам верное слово перемолвить. Положили мы к господам идти, как избу себе поставим. "Что ж, — говорил Андрей, — я тебя не хочу в людскую привесть, а вот весною свою избу поправлю, да тогда на свое хозяйство, в свой уголок…" Весной перекрыл он избу, ставни узорные поделал, крылечко решетчатое.

Все дивуются да догадываются: "На что Андрей избу украшает? Не хочет ли Андрей жениться? И на ком думает?" А правды никто-никто не знал, не ведал… Изба его стояла в ряду с другими, и часто я пробиралась туда огородами, бывало, да тайными тропиночками. Приду да и сижу там, и никто того не мыслит. Сижу себе там да думаю: вот тут я свой сундучок поставлю, а тут я образок повешу; и как это я его встречать буду, как он домой придет, и как я тут у него хозяйкою буду — все, бывало, передумаю. Часто мне барышня покойница вспоминалася, — и вспомнится живо так, будто вот ее тихий вздох я слышу… И с Андреем сидючи, вдруг вижу, она как словно пронесется передо мной… Я часто, бывало, говорю Андрею, рассказываю об ней…

— А забеги-ка нынче в рабочую пораньше, — говорит мне раз Андрей: — я работу новую начал.

А это он мне сундучок делает… и какой этот сундучок славный был! Я его и во сне сколько раз видела, что вот я туда добро какое-то складываю; а то приснится мне, что сундучок мой рассыпался, или открою, а из него огонь и дым валит…

— Готова моя изба, — говорит Андрей: — дождемся розговень и пойдем к господам.

— Али чего ждать! до розговень уж недалеко, пойдем к господам теперь, а после петрова дня и свадьбу сейчас сыграем.

— Нет, Андрей, погоди, — говорю ему: — погоди ты немножко. Теперь господа очень горюют, в большой они печали — как еще примут нас?

Знаете, ведь у нас все на барском веселом или печальном часе.

Уж давно повадился к нам ездить новый сосед, барин угрюмый такой, усы у него щетинистые, взгляд железный какой-то, одет весь в черном, а на шее красненькая ленточка. Он по соседству себе имение большое купил года два назад, и мы его понаслышке только, до сей поры знали, что будто очень он лют был. Вот познакомился он с нашими господами, сам приехал, да и стал учащать. Как он ни побывает, после всегда барыня плачет, а барин вздыхает да насвистывает… да не прежнюю веселую плясовую, а какую-то заунывную… И как знакомец новый ни приедет, разговоры у них с господами жаркие идут… Стал слух носиться, что ему хотят Рогожино продать… Как я услыхала — бегу к Андрею. "Андрей, говорю,

знаешь?" — Знаю, знаю! — ответил: — только тебя поджидал, сейчас идем к господам. Что дальше будет, неведомо: хорошего много не жди!

— Как идти-то? — говорю: — ведь теперь тот сидит у них, и спорят о чем-то.

— Верно, торги ведут нашими головами, — ответил мне Андрей. — Да еще не время его бояться, еще не пора, пойдем!

— Ну, пойдем!

Еще в сени входим, уж голоса слышим… В гостиной говорят.

— Да помилуйте, — басит сурово кто-то, — никто другой вам такой цены не даст, что ж вы еще жалуетесь, что дешево продали!

— Да мне прошлого году почти вдвое больше давали, — отвечает наш барин.

Барыня, слышно, всхлипывает.

— То был год прошлый — тогда давали, а теперь год нынешний — теперь не дадут!

А мы стоим да слушаем…

И долго стояли… То тот, то другой мимо нас к двери прокрадывался послушать; кажись, все на нас глядели удивляючись, чего мы тут стоим оба, и спрашивали: "Чего вы

ждете? чего стоите?" — Не томи ты и себя и меня, решайся! — сказал Андрей. — Войдем прямо к ним.

— Войдем, — говорю.

И отворяем двери. Барин наш услыхал, вскочил — такой он и встревоженный и раздосадованный. Барыня платочком прикрывается — плачет, а чужой пристально своими глазами железными на нас глядит.

— Что вам надо? что это значит? — нетерпеливо так спрашивает барин.

Говорит ему Андрей, просит его…

— Как, Игрушечка, — вскрикивает барыня, — ты хочешь замуж выходить?

— Сватайтесь, женитесь, мне все равно! Не до вас теперь, ей-богу! — говорит нам с досадою барин.

И махнул рукой, чтоб шли. Тогда чужой привстал:

— Позвольте!

— Ах, да! — вскрикнул наш барин: — я забыл! Я уже не господин ваш, вы проданы, вот ваш новый барин!

— Как! — вскрикнула барыня. — И Игрушечка продана? Ах, боже мой!

Мы глядим на нового — хотим его попросить, а он нам как крикнет: "Марш отсюда!" — и отвернулся…

— Пропали мы, Андрей! — говорю.

Он молчал, все о чем-то крепко думал… Под вечер приехал исправник и с ним весь стан и еще какие-то господа, что на все кругом такими жадными глазами смотрели.

Созвали людей к крыльцу, объявили им, что проданы они; нового барина показали…

А он стоит и оглядывает покупку свою и поморщивается — не по нраву ему пришлася.

— Что за люди! — говорит исправнику. — Как стоят! как глядят! Смелость-то, дерзость-то какая!

— Ничего, — исправник отвечает, пристегиваючи свой сюртучок, — исправить всякого можно!

Новый барин сейчас же и поселился в доме… Прежние наши господа еще на два дня оставалися… Это время я почти Андрея не видала: новый барин успел уж всех на работу поставить; из его имения приказчик приехал за всем надзирать, и неутомим был и неусыпен: везде его голос сиплый слышен; во всех уголках он словно из земли вырастал — сам приземистый, голова большая, взгляд свирепый, а в руке арапник тройной. Накануне выезда призвала меня барыня.

— Игрушечка! — говорит, — собралась ли ты? ведь ты со мной едешь. Как благодарна я вам, — обратилась к новому барину, — что вы мне эту девушку уступили — я привыкла к ней очень. Как я благодарна вам!

"Вот что еще меня ожидало!" — подумала я себе и прямо к Андрею пошла.

— Прощай, Андрей, прощай, желанный!

— Не плачь, не тужи, поможешь ли? — говорит он. — Пойдем к барыне…

— Да что ж, — молвлю, — подарит она нас по своей доброте рублем или платьицем с своего плеча…

— И то правда! — проговорил. Голос приказчиков послышался. — Иди, иди скорей, — гонит меня Андрей, — иди, боюсь, он тебе скажет что.

Мне же словно какая-то надежда в душу вошла: попытаюсь, попрошусь у барыни! Все думаю и все никак время не выберу, не застану ее одну.

Уж карета запряжена, а я еще ей ничего не сказала… уж одеваются… Тогда я не смотрела, кто был тут, стала ее просить, молить: "Оставьте меня! у меня жених есть любимый!" — "Ах, ах, Игрушечка! не стыдно ли тебе, и ты меня могла бы оставить? Ах, как же это можно! Боже мой! все нас покидают!" И заплакала…

Повели ее под руки в карету, посадили… втолкнул и меня кто-то, и помчались мы…

Еще раз увидала я Андрея… стоял он при дороге белый как полотно и поклонился…

Мелькнуло лицо барина нового и глаза его холодные.

Через два месяца пришло известие из Рогожина, что несчастье случилось... Шесть человек на поселение пошло... Андрей шестым...

А мы вот переехали к барыниной тетеньке — поселились у нее, да и живем себе...

Никого мне, ничего знакомого, только вот портрет барышни покойницы; кудрявенькая и веселенькая она на портрете: такая была она, когда меня Игрушечкой назвала.

Далеко ж теперь Игрушечка переброшена, далеко...

Барынина тетенька уж старая барышня, седая и скупая. Ходит она вся в черном и часто молебны служит, а платит она за них не деньгами — мукой, или овсом, или круп пошлет. Дом у ней большой, комнаты темные, и везде черные коврики суконные перед порогами. Кругом дома амбары, кладовые — везде тяжелые замки висят; сады — и те замкнуты. Девушки горничные все кружева плетут, барышня продает, и все говорят шепотом, тишина в доме, тишина, только барышнина собачонка заливается лаем звонким... Скучно моим господам у тетеньки; похудели и побледнели, у ней живучи, и словно полиняли... Приду я барыню раздевать ввечеру, а она мне жалобно:

"Игрушечка! скажи хоть ты что-нибудь веселое!" Только они входят к тетеньке, — тетенька тотчас свои очки возьмет, протирает, наденет и глядит им в глаза и головой качает: "Ох, ох! весь вы мой домишко разнесете, размотаете, только я глаза закрою, все у вас прахом пойдет!" Охает и все одно им твердит. Они уверять ее почнут: "Да можно ли, да мы никогда", а она головой качает...

Меня выучили кружева плесть… вот я кружева плету и век свой изживаю… Много время с той поры прошло, как я сюда приехала, много тоски, много скуки едкой пережито… Да ни к кому уж я сердечно не привязалась, ни к кому уж и не привяжусь… Только сердце забьется, только душа повлечет — видится мне впереди пустая степь безбрежная, дальняя дорога, да тоска жгучая, да слеза одинокая…